Всеволодъ Михайловичъ
ГАРШИНЪ

Разсказы для дѣтей



ImWerdenVerlag
München 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Attalea Princeps.

Въ одномъ большомъ городѣ былъ ботаническій садъ, а въ этомъ саду — огромная оранжерея изъ желѣза и стекла. Она была очень красива: стройныя витыя колонны поддерживали все зданіе; на нихъ опирались легкія узорчатыя арки, переплетенныя между собою цѣлой паутиной желѣзныхъ рамъ, въ которыя были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освѣщало ее краснымъ свѣтомъ. Тогда она вся горѣла, красные отблески играли и переливались, точно въ огромномъ мелко отшлифованномъ драгоцѣнномъ камнѣ.

Сквозь толстыя прозрачныя стекла виднѣлись заключенныя растенія. Несмотря на величину оранжереи, имъ было въ ней тѣсно. Корни переплелись между собою и отнимали другъ у друга влагу и пищу. Вѣтви деревъ мѣшались съ огромными листьями пальмъ, гнули и ломали ихъ и, сами налегая на желѣзныя рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрѣзали вѣтви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотятъ, но это плохо помогало. Для растеній нужны были широкій просторъ, родной край и свобода. Они были уроженцы жаркихъ странъ, нѣжныя, роскошныя созданія, они помнили свою родину и тосковали о ней. Какъ ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда, зимой, стекла обмерзали; тогда въ оранжереѣ становилось совсѣмъ темно. Гудѣлъ вѣтеръ, билъ въ рамы и заставлялъ ихъ дрожать. Крыша покрывалась наметеннымъ снѣгомъ. Растенія стояли и слушали вой вѣтра, и вспоминали иной вѣтеръ, теплый, влажный, дававшій имъ жизнь и здоровье. И имъ хотѣлось вновь почувствовать его вѣянье, хотѣлось, чтобы онъ покачалъ ихъ вѣтвями, поигралъ ихъ листьями. Но въ оранжереѣ воздухъ былъ неподвиженъ: развѣ только иногда зимняя буря выбивала стекло, и рѣзкая холодная струя, полная инея, влетала подъ сводъ. Куда попадала эта струя, тамъ листья блѣднѣли, съеживались и увядали.

Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническимъ садомъ управлялъ отличный ученый директоръ и не допускалъ никакого безпорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводилъ въ занятіяхъ съ микроскопомъ въ особой стеклянной будочкѣ, устроенной въ главной оранжереѣ.

Была между растеніями одна пальма, выше всѣхъ и красивѣе всѣхъ. Директоръ, сидѣвшій въ будочкѣ, называлъ ее по-латыни Attalea. Но это имя не было ея роднымъ именемъ: его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на бѣлой дощечкѣ, прибитой къ стволу пальмы. Разъ пришелъ въ ботаническій садъ пріѣзжій изъ той жаркой страны, гдѣ выросла пальма; когда онъ увидѣлъ ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину.

— А! — сказалъ онъ — я знаю это дерево. — И онъ назвалъ его роднымъ именемъ.

— Извините, — крикнулъ ему изъ своей будочки директоръ, въ это время внимательно разрѣзывавшій бритвою какой-то стебелекъ, вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существуетъ. Это Attalea Princeps, родомъ изъ Бразиліи.

— О, да, сказалъ бразильянецъ — я вполнѣ вѣрю вамъ, что ботаники называютъ ее Attalea, но у нея есть и родное, настоящее имя.

— Настоящее имя есть то, которое дается наукой, — сухо сказалъ ботаникъ и заперъ дверь своей будочки, чтобы ему не мѣшали люди, не понимающіе даже того, что ужъ если что нибудь сказалъ человѣкъ науки, такъ нужно молчать и слушаться.

А бразильянецъ долго стоялъ и смотрѣлъ на дерево, и ему становилось все грустнѣе и грустнѣе. Вспомнилъ онъ свою родину, ея солнце и небо, ея роскошные лѣса съ чудными звѣрями и птицами, ея пустыни, ея чудныя южныя ночи. И вспомнилъ еще, что нигдѣ онъ не бывалъ счастливъ, кромѣ родного края, а онъ объѣхалъ весь свѣтъ. Онъ коснулся рукою пальмы, какъ будто бы прощаясь съ нею, и ушелъ изъ сада, а на другой день уже уѣхалъ на пароходѣ домой.

А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелѣе, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсѣмъ одна. На пять саженъ возвышалась она надъ верхушками всѣхъ другихъ растеній, и эти другія растенія не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этотъ ростъ доставлялъ ей только одно горе; кромѣ того, что всѣ были вмѣстѣ, а она была одна, она лучше всѣхъ помнила свое родное небо и больше всѣхъ тосковала о немъ, потому что ближе всѣхъ была къ тому, что замѣняло имъ его: къ гадкой стеклянной крышѣ. Сквозь нее ей виднѣлось иногда что-то голубое: то было небо, хоть и чужое, и блѣдное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растенія болтали между собою, Attalea всегда молчала, тосковала и думала только о томъ, какъ хорошо было бы постоять даже и подъ этимъ блѣдненькимъ небомъ.

— Скажите, пожалуйста, скоро ли насъ будутъ поливать? — спросила саговая пальма, очень любившая сырость. — Я, право, кажется, засохну сегодня.

— Меня удивляютъ ваши слова, сосѣдушка, — сказалъ пузатый кактусъ. — Неужели вамъ мало того огромнаго количества воды, которое на васъ выливаютъ каждый день? Посмотрите на меня: мнѣ даютъ очень мало влаги, а я все-таки свѣжъ и сочень.

— Мы не привыкли быть черезчуръ бережливыми, — отвѣчала саговая пальма — мы не можемъ расти на такой сухой и дрянной почвѣ, какъ какіе нибудь кактусы. Мы не привыкли жить какъ нибудь. Кромѣ всего этого, скажу вамъ еще, что васъ не просятъ дѣлать замѣчанія.

Сказавъ это, саговая пальма обидѣлась и замолчала.

— Что касается меня, — вмѣшалась корица, — то я почти довольна своимъ положеніемъ. Правда, здѣсь скучновато, но ужъ я по крайней мѣрѣ увѣрена, что меня никто не обдеретъ.

— Но вѣдь не всѣхъ же насъ обдирали, — сказалъ древовидный папоротникъ. — Конечно, многимъ можетъ показаться раемъ и эта тюрьма послѣ жалкаго существованія, которое они вели на волѣ.

Тутъ корица, забывъ, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Нѣкоторыя растенія вступились за нее, нѣкоторыя за папоротникъ, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непремѣнно бы подрались.

— Зачѣмъ вы ссоритесь? — сказала Attalea. — Развѣ вы поможете себѣ этимъ? Вы только увеличиваете свое несчастіе злобою и раздраженіемъ. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о дѣлѣ. Послушайте меня! Растите выше и шире, раскидывайте вѣтви, напирайте на рамы и стекла: наша оранжерея разсыплется въ куски, и мы выйдемъ на свободу. Если одна какая нибудь вѣтка упрется въ стекло, то конечно ее отрѣжутъ, но что сдѣлаютъ съ сотней сильныхъ и смѣлыхъ стволовъ? Нужно только работать дружнѣе, и побѣда за нами.

Сначала никто не возражалъ пальмѣ; всѣ молчали и не знали, что сказать. Наконецъ саговая пальма рѣшилась.

— Все это глупости, — заявила она.

— Глупости! глупости! — заговорили деревья, и всѣ разомъ начали доказывать Attalea, что она предлагаетъ ужасный вздоръ. — Несбыточная мечта! — кричали они — вздоръ! нелѣпость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаемъ ихъ, да если бы и сломали, такъ что-жъ такое? Придутъ люди съ ножами и съ топорами, отрубятъ вѣтви, задѣлаютъ рамы и все пойдетъ по старому. Только и будетъ, что отрѣжутъ отъ насъ цѣлые куски...

— Ну, какъ хотите! — отвѣчала Attalea. — Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать. Я оставлю васъ въ покоѣ: живите, какъ хотите, ворчите другъ на друга, спорьте изъ-за подачекъ воды и оставайтесь вѣчно подъ стекляннымъ колпакомъ. Я и одна найду себѣ дорогу. Я хочу видѣть небо и солнце не сквозь эти рѣшетки и стекла — и я увижу!

И пальма гордо смотрѣла зеленой вершиной на лѣсъ товарищей, раскинутый подъ нею. Никто изъ нихъ не смѣлъ ничего сказать ей; только саговая пальма тихо сказала сосѣдкѣ цикадѣ:

— Ну, посмотримъ, посмотримъ, какъ тебѣ отрѣжутъ твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!

Остальныя хоть и молчали, но все-таки сердились на Attalea за ея гордыя слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обидѣлась ея рѣчамъ. Это была самая жалкая и презрѣнная травка изъ растеній оранжереи: рыхлая, блѣдненькая, ползучая, съ вялыми толстенькими листьями. Въ ней не было ничего замѣчательнаго, и она употреблялась въ оранжереѣ только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала собою подножіе большой пальмы, слушая ее, и ей казалось, что Attalea права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздухъ и свободу. Оранжерея и для нея была тюрьмой. «Если я, ничтожная, вялая травка, такъ страдаю безъ своего сѣренькаго неба, безъ блѣднаго солнца и холоднаго дождя, то что должно испытывать въ неволѣ это прекрасное и могучее дерево!» Такъ думала она и нѣжно обвивалась около пальмы и ласкалась къ ней. «Зачѣмъ я не большое дерево? Я послушалась бы совѣта. Мы росли бы вмѣстѣ и вмѣстѣ вышли бы на свободу. Тогда и остальныя увидѣли бы, что Attalea права». Но она была не большое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нѣжнѣе обвиться около ствола Attalea и прошептать ей свою любовь и желаніе счастья въ попыткѣ:

— Конечно, у насъ вовсе не такъ тепло, небо не такъ чисто, дожди не такъ роскошны, какъ въ вашей странѣ, но все-таки и у насъ есть и небо, и солнце, и вѣтеръ. У насъ нѣтъ такихъ пышныхъ растеній, какъ вы и ваши товарищи, съ такими огромными листьями и прекрасными цвѣтами но и у насъ растутъ очень хорошія деревья: сосны, ели и березы. Я — маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но вѣдь вы такъ велики и сильны! Вашъ стволъ твердъ, и вамъ уже не долго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на Божій свѣтъ. Тогда вы разскажете мнѣ, все ли тамъ такъ же прекрасно, какъ было. Я буду довольна и этимъ.

— Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вмѣстѣ со мною? Мой стволъ твердъ и крѣпокъ: опирайся на него, ползи по мнѣ. Мнѣ ничего не значитъ снести тебя.

— Нѣтъ, ужъ куда мнѣ! Посмотрите, какая я вялая и слабая: я не могу приподнять даже одной своей вѣточки. Нѣтъ, я вамъ не товарищъ. Растите, будьте счастливы. Только прошу васъ, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленькаго друга!

Тогда пальма принялась расти. И прежде посѣтители оранжереи удивлялись ея огромному росту, а она становилась съ каждымъ мѣсяцемъ все выше и выше. Директоръ ботаническаго сада приписывалъ такой быстрый ростъ хорошему уходу и гордился знаніемъ, съ какимъ онъ устроялъ оранжерею и велъ свое дѣло.

— Да-съ, взгляните-ка на Attalea princeps, — говорилъ онъ: — такіе рослые экземпляры рѣдко встрѣчаются и въ Бразиліи. Мы приложили все наше знаніе, чтобы растенія развивались въ теплицѣ совершенно такъ же свободно, какъ и на волѣ, и, мнѣ кажется, достигли нѣкотораго успѣха.

При этомъ онъ съ довольнымъ видомъ выхлопывалъ твердое дерево своею тростью, и удары звонко раздавались по оранжереѣ. Листья пальмы вздрагивали отъ этихъ ударовъ. О если бы она могла стонать, какой вопль гнѣва услышалъ бы директоръ!

«Онъ воображаетъ, что я расту для его удовольствія, — думала Attalea, — пусть воображаетъ».

И она росла, тратя всѣ соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая ихъ свои корни и листья. Иногда ей казалось, что разстояніе до свода не уменьшается. Тогда она напрягала всѣ силы. Рамы становились все ближе и ближе, и наконецъ молодой листъ коснулся холоднаго стекла и желѣза.

— Смотрите, смотрите, — заговорили растенія — куда она забралась! Неужели рѣшится?

— Какъ она страшно выросла! — сказалъ древовидный папоротникъ.

— Что-жъ, что выросла! Эка невидаль! Вотъ если бъ она съумѣла растолстѣть такъ, какъ я! — сказала толстая цикада, со стволомъ, похожимъ на бочку. — И чего тянется? Все равно, ничего не сдѣлаетъ. Рѣшетки прочны и стекла толсты.

Прошелъ еще мѣсяцъ. Attalea подымалась. Наконецъ она плотно уперлась въ рамы. Расти дальше было некуда. Тогда стволъ началъ сгибаться. Его лиственная вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились въ нѣжные молодые листья, перерѣзали и изуродовали ихъ, но дерево было упрямо, не жалѣло листьевъ, несмотря ни на что, давило на рѣшетки, и рѣшетки уже подавались, хотя были сдѣланы изъ крѣпкаго желѣза.

Маленькая травка слѣдила за борьбой и замирала отъ волненія.

— Скажите мнѣ, неужели вамъ не больно? Если рамы ужъ такъ прочны, не лучше ли отступить? — спросила она пальму.

— Больно? Что значитъ больно, когда я хочу выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня — отвѣтила пальма.

— Да, я ободряла, но я не знала, что это такъ трудно. Мнѣ жаль васъ. Вы такъ страдаете.

— Молчи, слабое растенье! Не жалѣй меня! Я умру или освобожусь!

И въ эту минуту раздался звонкій ударъ. Лопнула толстая желѣзная полоса. Посыпались и зазвенѣли осколки стеколъ. Одинъ изъ нихъ ударилъ въ шляпу директора, выходившаго изъ оранжереи.

— Что это такое? — вскрикнулъ онъ, вздрогнувъ, увидя летящіе по воздуху куски стекла. Онъ отбѣжалъ отъ оранжереи и посмотрѣлъ на крышу. Надъ стекляннымъ сводомъ гордо высилась выпрямившаяся зеленая корона пальмы.

«Только-то? — думала она. — И это все, изъ-за чего я томилась и страдала такъ долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшею цѣлью?»

Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину въ пробитое отверстіе. Моросилъ мелкій дождикъ по-поламъ со снѣгомъ; вѣтеръ низко гналъ сѣрыя клочковыя тучи. Ей казалось, что онѣ охватываютъ ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснахъ да на еляхъ стояли темнозеленыя хвои. Угрюмо смотрѣли деревья на пальму. «Замерзнешь! — какъ будто говорили они ей — ты не знаешь, что такое морозъ, ты не умѣешь терпѣть. Зачѣмъ ты вышла изъ своей теплицы?»

И Attalea поняла, что для нея все было кончено. Она застывала. Вернуться снова подъ крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодномъ

вѣтрѣ, чувствовать его порывы и острое прикосновеніе снѣжинокъ, смотрѣть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задній дворъ ботаническаго сада, на скучный огромный городъ, виднѣвшійся въ туманѣ, и ждать, пока люди, тамъ внизу, въ теплицѣ, не рѣшатъ, чтб дѣлать съ нею.

Директоръ приказалъ спилить дерево. «Можно бы надстроить надъ нею особенный колпакъ, — сказалъ онъ, — но надолго ли? Она опять выростетъ и все сломаетъ. И притомъ это будетъ стоить черезчуръ дорого. Спилитъ ее».

Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стѣнъ оранжереи, и низко, у самаго корня перепилили ее. Маленькая травка, обвившая стволъ дерева, не хотѣла разстаться со своимъ другомъ и тоже попала подъ пилу. Когда пальму вытащили изъ оранжереи, на отрѣзѣ оставшагося пня валялись размозженные пилою, истерзанные стебельки и листья.

— Вырвать эту дрянь и выбросить, — сказалъ директоръ. — Она уже пожелтѣла, да и пила очень попортила ее. Посадить здѣсь что-нибудь новое.

Одинъ изъ садовниковъ ловкимъ ударомъ заступа вырвалъ цѣлую охапку травы. Онъ бросилъ ее въ корзину, вынесъ и выбросилъ на задній дворъ, прямо на мертвую пальму, лежавшую въ грязи и уже полузасыпанную снѣгомъ.

То, чего не было.

Въ одинъ прекрасный іюньскій день — а прекрасный онъ былъ потому, что было двадцать восемь градусовъ по Реомюру — въ одинъ прекрасный іюньскій день было вездѣ жарко, а на полянкѣ въ саду, гдѣ стояла копна недавно скошеннаго сѣна, было еще жарче, потому что мѣсто было закрытое отъ вѣтра густымъ, прегустымъ вишнякомъ. Все почти спало: люди наѣлись и занимались послѣобѣденными боковыми занятіями; птицы примолкли, даже многія насѣкомыя попрятались отъ жары. О домашнихъ животныхъ нечего и говорить: скотъ крупный и мелкій прятался подъ навѣсъ: собака, вырывъ себѣ подъ амбаромъ яму, улеглась туда и, полузакрывъ глаза, прерывисто дышала, высунувъ розовый языкъ чуть не на полъ-аршина; иногда она, очевидно отъ тоски, происходящей отъ смертельной жары, такъ зѣвала, что при этомъ даже раздавался тоненькій визгъ: свиньи, маменька съ тринадцатью дѣтками, отправились на берегъ и улеглисъ въ черную, жирную грязь, при чемъ изъ грязи видны были только сопѣвшіе и храпѣвшіе свиные пятачки съ двумя дырочками, продолговатыя, облитыя грязью спины, да огромныя повислыя уши. Однѣ куры, не боясь жары, кое-какъ убивали время, разгребая лапами сухую землю противъ кухоннаго крыльца, въ которой, какъ онѣ отлично знали, не было уже ни одного зернышка; да и то пѣтуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда онъ принималъ глупый видъ и во все горло кричалъ: «какой скандалъ!»

Вотъ мы ушли съ полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянкѣ и сидѣло цѣлое общество неспавшихъ господъ. То-есть сидѣли-то не всѣ; старый гнѣдой, напримѣръ, съ опасностью для своихъ боковъ отъ кнута кучера Антона разгребавшій копну сѣна, будучи лошадью, вовсе и сидѣть не умѣлъ; гусеница какой-то бабочки тоже не сидѣла, а скорѣе лежала на животѣ; но дѣло вѣдь не въ словѣ. Подъ вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компанія: улитка, навозный жукъ, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакалъ кузнечикъ. Возлѣ стоялъ и старый гнѣдой, прислушиваясь къ ихъ рѣчамъ однимъ, повернутымъ къ нимъ, гнѣдымъ ухомъ, съ торчащими изнутри темно-сѣрыми волосами; а на гнѣдомъ сидѣли двѣ мухи.

Компанія вѣжливо, но довольно одушевленно спорила, при чемъ, какъ и слѣдуетъ быть, никто ни съ кѣмъ не соглашался, такъ какъ каждый дорожилъ независимостъю своего мнѣнія и характера.

— По-моему, — говорилъ навозный жукъ — порядочное животное прежде всего должно заботиться о своемъ потомствѣ. Жизнь есть трудъ для будущаго поколѣнія. Тотъ, кто сознательно исполняетъ обязанности, возложенныя на него природой, тотъ стоитъ на твердой почвѣ: онъ знаетъ свое дѣло, и что бы ни случилось, не будетъ въ отвѣтѣ. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто цѣлые дни безъ отдыха катаетъ такой тяжелый шаръ — шаръ, мною же столь искусно созданный изъ навоза, съ великой цѣлью дать возможность выросги новымъ, подобнымъ мнѣ, навознымъ жукамъ? Но зато не думаю, чтобы кто нибудь былъ такъ спокоенъ совѣстью и съ чистымъ сердцемъ могъ бы сказать: «Да, я сдѣлалъ все, что могъ и долженъ былъ сдѣлать», какъ скажу я, когда на свѣтъ явятся новые навозные жуки. Вотъ что значитъ трудъ!

— Поди ты, братецъ, съ своимъ трудомъ! — сказалъ муравей, притащившій во время рѣчи навознаго жука, несмотря на жару, чудовищный кусокъ сухого стебля. Онъ на минуту остановился, присѣлъ на четыре заднія ножки, а двумя передними отеръ потъ съ своего измученнаго лица. — И я вѣдь тружусь, и побольше твоего! Но ты работаешь для себя, или, все равно, для своихъ жученятъ; не всѣ такъ счастливы... попробовалъ бы ты потаскать бревна для казны, вотъ какъ я. Я и самъ не знаю, что заставляетъ меня работать, выбиваясь изъ силъ, даже и въ такую жару... Никто за это и спасибо не скажетъ. Мы, несчастные рабочіе муравьи, всѣ трудимся, а чѣмъ красна наша жизнь? Судьба!..

— Вы, навозный жукъ, слишкомъ сухо, а вы, муравей, слишкомъ мрачно смотрите на жизнь, — возразилъ имъ кузнечикъ. — Нѣтъ, жукъ, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего — совѣсть не мучитъ! Да притомъ вы ни-сколько не коснулись вопроса, поставленнаго г-жей ящерицей: она спросила, «что есть міръ», а вы говорите о своемъ навозномъ шарѣ: это даже невѣжливо. Міръ, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что въ немъ есть для насъ молодая травка, солнце и вѣтерокъ. Да и великъ же онъ! Вы здѣсь, между этими деревьями, не можете имѣть никакого понятія о томъ, какъ онъ великъ. Когда я бываю въ полѣ, я иногда вспрыгиваю, какъ только могу, вверхъ и, увѣряю васъ, достигаю огромной высоты. И съ нея-то я вижу, что міру нѣтъ конца.

— Вѣрно, — глубокомысленно подтвердилъ гнѣдой. — Но всѣмъ вамъ все-таки не увидѣть и сотой части того, что видѣлъ на своемъ вѣку я. Жаль, что вы не можете понять,что такое верста... За версту отсюда есть деревня Лупаревка: туда я каждый день ѣзжу съ бочкой за водой. Но тамъ меня никогда не кормятъ. А съ другой стороны Ефимовка, Кисляковка; въ ней церковь съ колоколами. А потомъ Свято-Троицкое, а потомъ Богоявленскъ. Въ Богоявленскѣ мнѣ всегда даютъ сѣна, но сѣно тамъ плохое. А вотъ въ Николаевѣ — это такой городъ, двадцать восемь верстъ отсюда — такъ тамъ сѣно лучше и овесъ даютъ, только я не люблю туда ѣздить: туда ѣздитъ на насъ баринъ и велитъ кучеру погонять, а кучеръ больно стегаетъ насъ кнутомъ... А то есть еще Александровка, Бѣлозерка, Херсонъ — городъ тоже... Да только куда вамъ понять все это! Вотъ это-то и естъ міръ; не весь, положимъ, ну, да все-таки значительная часть.

И гнѣдой замолчалъ, но нижняя губа у него все еще шевелилась, точно онъ что нибудь шепталъ. Это происходило отъ старости: ему былъ уже семнадцатый годъ, а для лошади это все равно, что для человѣка семьдесятъ седьмой.

— Я не понимаю вашихъ мудреныхъ лошадиныхъ словъ, да, признаться, и не гонюсь за ними, — сказала улитка. — Мнѣ былъ бы лопухъ, а его довольно: вотъ уже я четыре дня ползу, а онъ все еще не кончается. А за этимъ лопухомъ есть еще лопухъ, а въ томъ лопухѣ навѣрно сидитъ еще улитка. Вотъ вамъ и все. И прыгать никуда не

нужно — все это выдумки и пустяки; сиди себѣ да ѣшь листъ, на которомъ сидишь. Если бы не лѣнь ползти, давно бы ушла отъ васъ съ вашими разговорами: отъ нихъ голова болитъ, и больше ничего.

— Нѣтъ, позвольте, отчего же? — перебилъ кузнечикъ — потрещать очень пріятно, особенно о такихъ хорошихъ предметахъ, какъ безконечность и прочее такое. Конечно, есть практическія натуры, которыя только и заботятся о томъ, какъ бы набить себѣ животъ, какъ вы, или вотъ эта прелестная гусеница...

— Ахъ, нѣтъ, оставьте меня, прошу васъ, оставьте, нетроньте меня! — жалобно воскликнула гусеница — я дѣлаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

— Для какой тамъ еще будущей жизни? — спросилъ гнѣдой.

— Развѣ вы не знаете, что я послѣ смерти сдѣлаюсь бабочкой съ разноцвѣтными крыльями?

Гнѣдой, ящерища и улитка этого не знали, но насѣкомыя имѣли кое-какое понятіе. И всѣ немного помолчали, потому что никто не умѣлъ сказать ничего путнаго о будущей жизни.

— Къ твердымъ убѣжденіямъ нужно относиться съ уваженіемъ, — затрещалъ наконецъ кузнечикъ. — Не желаетъ ли кто сказать еще что нибудь? Можетъ быть, вы? — обратился онъ къ мухамъ, и старшая изъ нихъ отвѣтила:

— Мы не можемъ сказать, чтобы намъ было худо. Мы сейчасъ только изъ комнатъ; барыня разставила въ мискахъ наваренное варенье, и мы забрались подъ крышку и наѣлись. Мы довольны. Наша маменька увязла въ вареньѣ, но что-жъ дѣлать? Она уже довольно пожила на свѣтѣ. А мы довольны.

— Господа, — сказала ящерица — я думаю, что всѣ вы совершенно правы! Но, съ другой стороны...

Но ящерица такъ и не сказала, что было съ другой стороны, потому что почувствовала, какъ что-то крѣпко прижало ея хвостъ къ землѣ.

Это пришелъ за гнѣдымъ проснувшійся кучеръ Антонъ; онъ нечаянно наступилъ своимъ сапожищемъ на компанію и раздавилъ ее. Однѣ мухи улетѣли обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньемъ маменьку, да ящерица убѣжала съ оторваннымъ хвостомъ. Антонъ взялъ гнѣдого за чубъ и повелъ его изъ сада, чтобы запрячь въ бочку и ѣхать за водой, при чемъ приговаривалъ: «Ну, иди, ты, хвостяка!» На что гнѣдой отвѣчалъ только шептаньемъ.

А ящерица осталась безъ хвоста. Правда, черезъ нѣсколько времени онъ выросъ, но навсегда остался какимъ-то тупымъ и черноватымъ. И когда ящерицу спрашивали, какъ она повредила себѣ хвостъ, то она скромно отвѣчала:

— Мнѣ оторвали его за то, что я рѣшилась высказать свои убѣжденія.

И она была совершенно права.

Сказка о жабѣ и розѣ.

Жили на свѣтѣ роза и жаба.

Розовый кустъ, на которомъ расцвѣла роза, росъ въ небольшомъ полукругломъ цвѣтникѣ передъ деревенскимъ домомъ. Цвѣтникъ былъ очень запущенъ; сорныя травы густо разрослись по старымъ, вросшимъ въ землю клумбамъ и по дорожкамъ. которыхъ уже давно никто не чистилъ и не посыпалъ пескомъ. Деревянная рѣшетка съ колышками, обдѣланными въ видѣ четырехгранныхъ пикъ, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсѣмъ облѣзла, разсохлась и развалилась; пики растащили для игры въ солдаты деревенскіе мальчики и, чтобы отбиваться отъ сердитаго барбоса съ компаніею прочихъ собакъ, подходившіе къ дому мужики.

А цвѣтникъ отъ этого разрушенія сталъ нисколько не хуже. Остатки рѣшетки заплели хмель, повилика съ крупными бѣлыми цвѣтами и мышиный горошекъ, висѣвшій цѣлыми блѣднозелеными кучами, съ разбросанными кое-гдѣ блѣдно лиловыми кисточками цвѣтовъ. Колючіе чертополохи на жирной и влажной почвѣ цвѣтника (вокругъ него былъ большой тѣнистый садъ) достигали такихъ большихъ размѣровъ, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки подымали свои усаженныя цвѣтами стрѣлки еще выше ихъ. Крапива занимала цѣлый уголъ цвѣтника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ея темною зеленью, особенно когда эта зелень служила фономъ для нѣжнаго, роскошнаго блѣднаго цвѣтка розы.

Она распустилась въ хорошее майское утро: когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на нихъ нѣсколько чистыхъ, прозрачныхъ слезинокъ. Роза точно плакала. Но вокругъ нея все было такъ хорошо, такъ чисто и ясно въ это прекрасное утро, когда она въ первый разъ увидѣла голубое небо и почувствовала свѣжій утренній вѣтерокъ и лучи сіявшаго солнца, проникавшаго ея тонкіе лепестки розовымъ свѣтомъ, въ цвѣтникѣ было такъ мирно и спокойно, что если бы она могла въ самомъ дѣлѣ плакать, то не отъ горя, а отъ счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонивъ свою головку, разливать вокругъ себя тонкій и свѣжій запахъ, и этотъ запахъ былъ ея словами, слезами и молитвой. А внизу, между корнями куста, на сырой землѣ, какъ будто прилипнувъ къ ней плоскимъ брюхомъ, сидѣла довольно жирная, старая жаба, которая проохотилась цѣлую ночь за червяками и мошками и подъ утро усѣлась отдыхать отъ трудовъ, выбравъ мѣстечко потѣнистѣе и посырѣе. Она сидѣла, закрывъ перепонками свои жабьи глаза, и едва замѣтно дышала, раздувая грязносѣрые, бородавчатые и липкіе бока и отставивъ одну безобразную лапу въ сторону: ей было лѣнь подвинуть ее къ брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погодѣ; она уже наѣлась и собралась отдыхать. Но когда вѣтерокъ на минуту стихалъ, и запахъ розы не уносился въ сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное безпокойство; однако она долго лѣнилась посмотрѣть, откуда несется этотъ запахъ.

Въ цвѣтникъ, гдѣ росла роза и гдѣ сидѣла жаба, уже давно никто не ходилъ. Еще въ прошломъ году осенью, въ тотъ самый день, когда жаба, отыскавъ себѣ хорошую щель подъ однимъ изъ камней фундамента дома, собиралась залѣзть туда на зимнюю спячку, въ цвѣтникъ въ послѣдній разъ зашелъ маленькій мальчикъ, который цѣлое лѣто сидѣлъ въ немъ каждый ясный день подъ окномъ дома. Взрослая дѣвушка, его сестра, сидѣла у окна; она читала книгу, или шила что нибудъ, и изрѣдка поглядывала на брата. Онъ былъ маленькій мальчикъ лѣтъ семи, съ болъшими глазами и большой головой на худенькомъ тѣлѣ. Онъ очень любилъ свой цвѣтникъ (это былъ его цвѣтникъ, потому что кромѣ него почти никто не ходилъ въ это заброшенное мѣстечко) и, придя въ него, садился на солнышкѣ, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожкѣ, уцѣлѣвшей около самаго дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начиналъ читать принесенную съ собою книжку.

— Вася, хочешь я тебѣ брошу мячикъ? — спрашиваетъ изъ окна сестра. — Можетъ быть, ты съ нимъ побѣгаешь?

— Нѣтъ, Маша, я лучше такъ, съ книжкой.

И онъ сидѣлъ долго и читалъ. А когда ему надоѣдало читать о Робинзонахъ, и дикихъ странахъ, и морскихъ разбойникахъ, онъ оставлялъ раскрытую книжку и забирался въ чащу цвѣтника. Тутъ ему былъ знакомъ каждый кустъ и чуть ли не каждый стебель. Онъ садился на корточки передъ толстымъ, окруженнымъ мохнатыми бѣловатыми листьями стеблемъ коровьяка, который былъ втрое шире его, и по-долгу смотрѣлъ, какъ муравьиный народъ бѣгаетъ вверхъ къ своимъ коровамъ — травянымъ тлямъ, какъ муравей деликатно трогаетъ тонкія трубочки, торчащія у тлей на спинѣ,

и подбираетъ чистыя капельки сладкой жидкости, показывавшіяся на кончикахъ трубочекъ. Онъ смотрѣлъ какъ навозный жукъ хлопотливо и усердно тащитъ куда-то свой шаръ: какъ паукъ, раскинувъ хитрую радужную сѣть, сторожитъ мухъ; какъ ящерица, раскрывъ тупую мордочку, сидитъ на солнцѣ, блестя зелеными щитиками своей спины; а одинъ разъ, подъ вечеръ, онъ увидѣлъ живого ежа! Тутъ и онъ не могъ удержаться отъ радости и чуть было не закричалъ и не захлопалъ руками, но, боясь спугнуть колючаго звѣрька, притаилъ дыханіе и, широко раскрывъ счастливые глаза, въ восторгѣ смотрѣлъ, какъ тотъ, фыркая, обнюхивалъ своимъ свинымъ рыльцемъ корни розоваго куста, ища между ними червей, и смѣшно перебиралъ толстенькими лапами, похожими на медвѣжьи.

— Вася, милый, иди домой, сыро становится, — громко сказала сестра.

И ежикъ, испугавшись человѣческаго голоса, живо надвинулъ себѣ на лобъ и на заднія лапы колючую шубу и превратился въ шаръ. Мальчикъ тихонько коснулся его колючекъ: звѣрекъ еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтѣлъ, какъ маленькая паровая машина.

Потомъ онъ немного познакомился съ этимъ ежикомъ. Онъ былъ такой слабый, тихій и кроткій мальчикъ, что даже разная звѣриная мелкота какъ будто понимала это и скоро привыкла къ нему. Какая была радость, когда ежъ попробовалъ молока изъ принесеннаго хозяиномъ цвѣтника блюдечка!

Въ эту весну мальчикъ не могъ выйти въ свой любимый уголокъ. Попрежнему около него сидѣла сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслухъ ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову съ бѣлыхъ подушекъ и трудно держать въ тощихъ рукахъ даже самый маленькій томикъ, да и глаза его скоро утомлялисъ отъ чтенія. Должно быть, онъ уже больше никогда не выйдетъ въ свой любимый уголокъ.

— Маша! — вдругъ шепчетъ онъ сестрѣ.

— Что милый?

— Что, въ садикѣ теперь хорошо? Розы расцвѣли?

Сестра наклоняется, цѣлуетъ его въ блѣдную щеку и при этомъ незамѣтно стираетъ слезинку.

— Хорошо, голубчикъ, очень хорошо. И розы расцвѣли. Вотъ въ понедѣльникъ мы пойдемъ туда вмѣстѣ. Докторъ позволилъ тебѣ выйти.

Мальчикъ не отвѣчаетъ и глубоко вздыхаетъ. Сестра начинаетъ снова читать.

— Уже будетъ! Я усталъ. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и бѣлое одѣяльце; онъ съ трудомъ повернулся къ стѣнкѣ и замолчалъ. Солнце свѣтило сквозь окно, выходившее на цвѣтникъ, и кидало яркіе лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тѣльце, освѣщая подушки и одѣяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полнымъ цвѣтомъ, а на третій — начать вянуть и осыпаться. Вотъ и вся розовая жизнь! Но и въ эту короткую жизнь ей довелось испытать не мало страха и горя.

Ее замѣтила жаба.

Когда она въ первый разъ увидѣла цвѣтокъ своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось въ жабьемъ сердцѣ. Она не могла оторваться отъ нѣжныхъ розовыхъ лепестковъ и все смотрѣла и смотрѣла. Ей очень понравиласъ роза, и она чувствовала желаніе быть поближе къ такому душистому и прекрасному созданію. И чтобы выразить свои нѣжныя чувства, она не придумала ничего лучше такихъ словъ:

— Постой, — прохрипѣла она, — я тебя слопаю.

Роза содрогнулась. Зачѣмъ она была прикрѣплена къ своему стебельку? Вольныя птички, щебетавшія вокругъ нея, перепрыгивали и перелетали съ вѣтки на вѣтку; иногда онѣ уносились куда-то далеко, куда — не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Какъ она завидовала имъ! Будь она такою, какъ онѣ, она вспорхнула бы и улетѣла отъ злыхъ глазъ, преслѣдовавшихъ ее своимъ пристальнымъ взглядомъ. Роза не знала, что жабы подстерегаютъ иногда и бабочекъ.

— Я тебя слопаю! — повторила жаба, стараясь говорить какъ можно нѣжнѣе, что выходило еще ужаснѣе, и переползла поближе къ розѣ.

— Я тебя слопаю! — повторяла она, все глядя на цвѣтокъ. И бѣдное созданіе съ ужасомъ увидѣло, какъ скверныя липкія лапы цѣпляются за вѣтви куста, на которомъ она росла. Однако, жабѣ лѣзть было трудно: ея плоское тѣло могло свободно ползать и прыгать только по ровному мѣсту. Послѣ каждаго усилія она глядѣла вверхъ, гдѣ качался цвѣтокъ, и роза замирала.

— Господи! — молилась она. — Хоть бы умереть другою смертью!

А жаба все карабкалась выше. Но тамъ, гдѣ кончались старые стволы и начинались молодыя вѣтви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розоваго куста была вся усажена острыми и крѣпкими шипами. Жаба переколола себѣ объ нихъ лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она съ ненавистью посмотрѣла на цвѣтокъ.

— Я сказала, что я тебя слопаю! — повторила она.

Наступилъ вечеръ; нужно было подумать объ ужинѣ, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожныхъ насѣкомыхъ. Злость не помѣшала ей набить себѣ животъ, какъ всегда; ея царапины были не очень опасны, и она рѣшилась, отдохнувъ, снова добираться до привлекавшаго ее и ненавистнаго ей цвѣтка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошелъ полдень, роза почти забыла о своемъ врагѣ. Она совсѣмъ уже распустилась и была самымъ красивымъ созданіемъ въ цвѣтникѣ. Некому было придти полюбоваться ею; маленькій хозяинъ неподвижно лежалъ на своей постелькѣ, сестра не отходила отъ него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчелы, жужжа, садились иногда въ ея раскрытый вѣнчикъ и вылетали оттуда, совсѣмъ косматыя отъ желтой цвѣточной пыли. Прилетѣлъ соловей, забрался въ розовый кустъ и запѣлъ свою пѣсню. Какъ она была не похожа на хрипѣніе жабы! Роза слушала эту пѣсню и была счастлива; ей казалось, что соловей поетъ ее для нея, а можетъ быть, это была и правда. Она не видѣла. какъ ея врагъ незамѣтно взбирался на вѣтки. На этотъ разъ жаба уже не жалѣла ни лапокъ, ни брюха: кровь покрывала ее, но она храбро лѣзла все вверхъ — и вдругъ, среди звонкаго и нѣжнаго рокота соловья, роза услышала знакомое хрипѣніе:

— Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабьи глаза пристально смотрѣли на нее съ сосѣдней вѣтки. Злому животному оставалось только одно движеніе, чтобы схватить цвѣтокъ. Роза поняла, что погибаетъ...

Маленькій хозяинъ уже давно неподвижно лежалъ на постели. Сестра, сидѣвшая у изголовья въ креслѣ, думала, что онъ спитъ. На колѣняхъ у нея лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ея усталая голова склонилась: бѣдная дѣвушка не спала нѣсколько ночей, не отходя отъ больного брата, и теперь слегка задремала.

— Маша! — вдругъ прошепталъ онъ.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидитъ у окна, что маленькій братъ играетъ, какъ въ прошломъ году, въ цвѣтникѣ и зоветъ ее. Открывъ глаза и увидавъ его въ постели, худого и слабаго, она тяжело вздохнула.

— Что, милый?

— Маша, ты мнѣ сказала, что розы расцвѣли! Можно мнѣ... одну?

— Можно, голубчикъ, можно!

Она подошла къ окну и посмотрѣла на кустъ. Тамъ росла одна, но очень пышная роза.

— Какъ разъ для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебѣ ее сюда на столикъ въ стаканѣ? Да?

— Да, на столикъ. Мнѣ хочется.

Дѣвушка взяла ножницы и вышла въ садъ, она давно уже не выходила изъ комнаты; солнце ослѣпило ее, и отъ свѣжаго воздуха у нея слегка закружилась голова. Она подошла къ кусту въ то самое мгновенье, когда жаба хотѣла схватить цвѣтокъ.

— Ахъ, какая гадость! — вскричала она, и, схвативъ вѣтку, она сильно тряхнула ее: жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхомъ! Въ ярости она было прыгнула на дѣвушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчасъ далеко отлетѣла, отброшенная носкомъ башмака. Она не посмѣла попробовать еще разъ и только издали видѣла, какъ дѣвушка осторожно срѣзала цвѣтокъ и понесла его въ комнату.

Когда мальчикъ увидѣлъ сестру съ цвѣткомъ въ рукѣ, то въ первый разъ послѣ долгаго времени слабо улыбнулся и съ трудомъ сдѣлалъ движеніе худенькой рукой.

— Дай ее мнѣ, — прошепталъ онъ, — я понюхаю.

Сестра вложила стебелекъ ему въ руку и помогла подвинуть ее къ лицу. Онъ вдыхалъ въ себя нѣжный запахъ и, счастливо улыбаясь, прошепталъ:

— Ахъ, какъ хорошо...

Потомъ его личико сдѣлалось серьезнымъ и неподвижнымъ, и онъ замолчалъ навсегда.

Роза, хотя и была срѣзана прежде, чѣмъ начала осыпаться, чувствовала, что ее срѣзали не даромъ. Ее поставили въ отдѣльномъ бокалѣ у маленькаго гробика. Тутъ были цѣлые букеты и другихъ цвѣтовъ, но на нихъ, по правдѣ сказать, никто не обращалъ вниманія, а розу молодая дѣвушка, когда ставила ее на столъ, поднесла къ губамъ и поцѣловала. Маленькая слезинка упала съ ея щеки на цвѣтокъ, и это было самымъ лучшимъ происшествіемъ въ жизни розы. Когда она начала вянуть, ее положили въ толстую старую книгу и высушили, а потомъ, уже черезъ много лѣтъ, подарили мнѣ. Потому-то я и знаю всю эту исторію.

Лягушка-Путешественница.

Сказка.

Жила-была на свѣтѣ Лягушка-квакушка. Сидѣла она въ болотѣ, ловила комаровъ да мошку, весною громко квакала вмѣстѣ со своими подругами. И весь вѣкъ она прожила бы благополучно — конечно, въ томъ случаѣ, если бы не съѣлъ ее аистъ. Но случилось одно происшествіе.

Однажды она сидѣла на сучкѣ высунувшейся изъ воды коряги и насаждалась теплымъ мелкимъ дождикомъ.

«Ахъ, какая сегодня, прекрасная мокрая погода! — думала она. — Какое это наслажденіе жить на свѣтѣ!»

Дождикъ моросилъ по ея пестренькой лакированной спинкѣ: капли его подтекали ей подъ брюшко и за лапки, и это было восхитителъно-пріятно, такъ пріятно, что она чуть-чуть не заквакала; но, къ счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакаютъ — на это есть весна — и что, заквакавъ, она мо-

жетъ уронить свое лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нѣжиться.

Вдругъ тонкій, свистящій, прерывистый звукъ раздался въ воздухѣ. Есть такая порода утокъ: когда онѣ летятъ, то ихъ крылья, разсѣкая воздухъ, точно поютъ, или, лучше сказать, посвистываютъ; фью-фью-фью-фью раздается въ воздухѣ, когда летитъ высоко надъ вами стадо такихъ утокъ, а ихъ самихъ даже и не видно — такъ онѣ высоко летятъ. На этотъ разъ утки, описавъ огромный полукругъ, спустились и сѣли какъ разъ въ то самое болото, гдѣ жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна изъ нихъ. — Летѣть еще далеко; надо покушать.

И лягушка сейчасъ же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станутъ ѣсть ее, большую и толстую квакушку, но все-таки? на всякій случай, нырнула подъ корягу. Однако, подумавъ, она рѣшилась высунуть изъ воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летятъ утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка — ужъ холодно становится! Скорѣй на югъ! скорѣй на югъ!

И всѣ утки стали громко крякать въ знакъ одобренія.

— Госпожи утки, — осмѣлилась сказать лягушка — что такое югъ, на который вы летите? Прошу извиненія за безпокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у нихъ явилось желаніе съѣстъ ее, но каждая изъ нихъ подумала, что лягушка слишкомъ велика и не пролѣзетъ въ горло. Тогда всѣ онѣ начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на югѣ! Теперь тамъ тепло! Тамъ есть такія славныя, теплыя болота! Какіе тамъ червяки! Хорошо на югѣ!

Онѣ такъ кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убѣдила ихъ замолчать и попросила одну изъ нихъ, которая казалась ей толще и умнѣе всѣхъ, объяснить ей, чтб такое югъ. И когда та разсказала ей о югѣ, то лягушка пришла въ восторгъ, но въ концѣ все-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли тамъ мошекъ и комаровъ?

— О! цѣлыя тучи! — отвѣчала утка.

— Ква! — сказала лягушка, и тутъ же обернулась посмотрѣть, нѣтъ ли здѣсь подругъ, которыя могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она ужъ никакъ не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разикъ:

— Возьмите меня съ собой!

— Это мнѣ удивительно! — воскликнула утка. — Какъ мы тебя возьмемъ? У тебя нѣтъ крыльевъ.

— Когда вы летите? — спросила лягушка.

— Скоро, скоро! — закричали всѣ утки. — Кря, кря! кря! кря! Тутъ холодно! На югъ! на югъ!

— Позвольте мнѣ подумать только пять минутъ, — сказала лягушка, — я сейчасъ вернусь, я навѣрное придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлепнулась съ сучка, на который было снова влѣзла, въ воду, нырнула въ тину и совершенно зарылась въ ней, чтобы посторонніе предметы не мѣшали ей размышлять. Пять минутъ прошло, утки совсѣмъ было собрались летѣть, какъ вдругъ изъ воды, около сучка, на которомъ сидѣла лягушка, показалась ея морда, и выраженіе этой морды было самое сіяющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! я нашла! — сказала она: — пусть двѣ изъ васъ возьмутъ въ свои клювы прутикъ, а я прицѣплюсь за него посерединѣ. Вы будете летѣть, а я ѣхать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будетъ превосходно.

Хотя молчать и тащить хотя бы и легкую лягушку три тысячи верстъ не Богъ знаетъ какое удовольствіе, но ея умъ привелъ утокъ въ такой восторгъ, что онѣ единодушно согласились нести ее. Рѣшили перемѣняться каждые два часа. И такъ какъ утокъ

было, какъ говорится въ загадкѣ, столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хорошій, прочный прутикъ, двѣ утки взяли его въ клювы, лягушка прицѣпилась ртомъ за середину, и все стадо поднялось на воздухъ. У лягушки захватило духъ отъ страшной высоты, на которую ее подняли; кромѣ того, утки летѣли неровно и дергали прутикъ: бѣдная квакушка болталась въ воздухѣ, какъ бумажный паяцъ, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла къ своему положенію и даже начала осматриваться. Подъ нею быстро проносились поля, луга, рѣки и горы, которые ей, впрочемъ было очень трудно разсматривать, потому что, вися на прутикѣ, она смотрѣла назадъ и немного вверхъ, но кое-что все-таки видѣла, и радовалась, и гордилась.

«Вотъ какъ я превосходно придумала», думала она про себя.

А утки летѣли вслѣдъ за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее.

— Удивительно умная голова наша лягушка, — говорили онѣ. — Даже между утками мало такихъ найдется.

Она едва удерживалась, чтобы не поблагодарить ихъ, но вспомнивъ, что, открывъ ротъ, она свалится съ страшной высоты, еще крѣпче стиснула челюсти и рѣшилась терпѣть. Она болталась такимъ образомъ цѣлый день: несшія ее утки перемѣнялись на лету, ловко подхватывая прутикъ; это было очень страшно: не разъ лягушка чуть было не квакнула отъ страха, но нужно было имѣть присутствіе духа, и она его имѣла. Вечеромъ вся компанія остановилась въ какомъ-то болотѣ; съ зарею утки съ лягушкой снова пустились въ путь, но на этотъ разъ путешественница, чтобы лучше видѣть что дѣлается на пути, прицѣпилась спинкой и головой впередъ, а брюшкомъ назадъ. Утки летѣли надъ сжатыми полями, надъ пожелтѣвшими лѣсами и надъ деревнями, полными хлѣба въ скирдахъ; оттуда доносился людской говоръ и стукъ цѣповъ, которыми молотили рожь. Люди смотрѣли на стаю утокъ и, замѣчая въ ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушкѣ ужасно захотѣлось летѣть поближе къ землѣ, показать себя и послушать, что объ ней говорятъ. На слѣдующемъ отдыхѣ она сказала:

— Нельзя ли намъ летѣть не такъ высоко? У меня отъ высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мнѣ вдругъ сдѣлается дурно.

И добрыя утки обѣщали ей летѣть пониже. На слѣдующій день онѣ летѣли такъ низко, что слышали голоса:

— Смотрите, смотрите! — кричали дѣти въ одной деревнѣ, — утки лягушку несутъ.

Лягушка услышала это, и у нея прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите! — кричали въ другой деревнѣ взрослые. — Вотъ чудо-то!

«Знаютъ ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите! — кричали въ третьей деревнѣ. — Экое чудо! И кто это придумалъ такую хитрую штуку?

Тутъ лягушка ужъ не выдержала и, забывъ всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

— Это я! я!

И съ этимъ крикомъ она полетѣла вверхъ тормашками на землю. Утки громко закричали; одна изъ нихъ хотѣла подхватить бѣдную шутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всѣми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но такъ какъ утки летѣли очень быстро, то и она упала не прямо на то мѣсто, надъ которымъ закричала и гдѣ была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нея большимъ счастіемъ, потому что она бултыхнулась въ грязный прудъ на краю деревни.

Она скоро вынырнула изъ воды и тотчасъ же опять сгоряча закричала во все горло:

— Это я! Это я придумала!

Но вокругъ нея никого не было. Испуганныя неожиданнымъ плескомъ, мѣстныя лягушки всѣ попрятались въ воду. Когда онѣ начали показываться изъ нея, то съ удивленіемъ смотрѣли на новую.

И она разсказала имъ чудную исторію о томъ, какъ она думала всю жизнь и наконецъ изобрѣла новый необыкновенный способъ путешествія на уткахъ; какъ у нея были свои собственныя утки, которыя носили ее, куда ей было угодно; какъ она побывала на прекрасномъ югѣ, гдѣ такъ, такъ хорошо, гдѣ такія прекрасныя, теплыя болота и такъ много мошекъ и всякихъ другихъ съѣдобныхъ насѣкомыхъ.

— Я заѣхала къ вамъ посмотрѣть, какъ вы живете, — сказала она, — я пробуду у васъ до весны, пока не вернутся мои утки, которыхъ я отпустила.

Но утки ужъ никогда не вернулись. Онѣ думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалѣли ее.

Сказаніе о гордомъ Аггеѣ *).

Жилъ въ нѣкоторой странѣ правитель; звали его Аггей. Былъ онъ славенъ и силенъ: далъ ему государь полную власть надъ страною; враги его боялись, друзей у него не было, а народъ во всей области жилъ смирно, зная силу своего правителя. И возгордился правитель, и сталъ онъ думать, что никого нѣтъ на свѣтѣ сильнѣе и мудрѣе его. Жилъ онъ пышно; множество у него было богатства и слугъ, съ которыми онъ никогда не говорилъ: считалъ ихъ недостойными. Съ женою своею жилъ въ ладу, но держалъ и ее строго, такъ что не смѣла она сама заговаривать, а ждала, пока не спроситъ ее, или не скажетъ ей что-нибудь мужъ.

Жилъ такъ Аггей одинъ, точно на высокой башнѣ стоялъ. Снизу толпы народа на него смотрятъ, а онъ не хочетъ никого знать и стоитъ на своемъ низенькомъ помостѣ; думаетъ, что одно это мѣсто его достойно: хоть одиноко, да высоко.

Пошелъ въ праздникъ Аггей въ церковь. Пришелъ онъ туда съ женою своею въ пышныхъ одеждахъ, мантіи на нихъ были златотканныя, пояса съ дорогими каменьями, а надъ ними несли парчевой балдахинъ. И впереди ихъ, и сзади шли воины съ мечами и сѣкирами, и довели ихъ до царскаго мѣста, откуда имъ слушать службу. Вокругъ нихъ стали начальники и чиновники. И слушалъ Аггей службу, и думалъ посвоему, какъ ему казалось, вѣрно или невѣрно говорится въ святомъ писаніи.

Началъ протопопъ книгу читать и дошелъ онъ до того мѣста, гдѣ написано: «богатые обнищаютъ, а нищіе обогатѣютъ». Услышалъ Аггей такія слова и разгнѣвался.

— Что ты, — говоритъ — попъ, вздумалъ читать такую ложь? Не знаешь развѣ, какъ славенъ я и богатъ? Какъ мнѣ обнищать, а нищему обогатѣть противъ меня?

Протопопъ же не слушалъ его и дальше сталъ читать книгу, и службу отслужилъ до конца, не отвѣчая Аггею.

И разъярился правитель: протопопа велѣлъ заковать въ кандалы и посадить въ темницу, а листъ, на которомъ тѣ слова были написаны, велѣлъ изъ книги выдрать.

Отвели протопопа въ темницу и листъ выдрали, а правитель Аггей пошелъ въ свои палаты пировать, и на пиру пилъ, ѣлъ и веселился.

Шелъ за городомъ одинъ юноша и увидѣлъ оленя, такого рослаго и красиваго, что до тѣхъ поръ и не видывалъ. И захотѣлъ онъ угодить правителю: побѣжалъ въ городъ, пришелъ въ его палаты и сказалъ объ оленѣ слугамъ. Донесли о томъ Аггею, и приказалъ онъ собираться на охоту.

Выѣхала охота въ поле; увидали оленя и поскакали къ нему. Стоитъ олень, голову поднялъ, на охоту оглядывается, будто ждетъ чего-то. Не видалъ такого звѣря и самъ

*) Пересказъ старинной легенды.

Аггей: рослый и гладкій, морда тонкая, умная; рога, какъ дерево вѣтвистое, отъ конца до конца цѣлая сажень. Шерсть гнѣдая, блеститъ, какъ лощеная; ляжки бѣлыя, какъ снѣгъ. Скачетъ къ нему Аггей и дивится, что не уходитъ олень, а на него все смотритъ большими глазами, точно сказать что-то хочетъ. Подскакалъ Аггей, думалъ ужъ копье метнуть; повернулся звѣрь, взмахнулъ вѣтвистыми рогами, прянулъ первымъ скокомъ на три сажени и пошелъ по полю: конь былъ у Аггея такой, что и цѣны ему не было, а сталъ отставать. Обернулся правитель на своихъ охотниковъ, а ихъ уже едва и видно: посмотрѣлъ впередъ на оленя и видитъ, что звѣрь пошелъ тише. — «Ну, — думаетъ — догоню!» Скачетъ во всю конскую мочь и видитъ — все ближе и ближе къ нему бѣлыя ляжки оленьи мелькаютъ. Только хотѣлъ было копье бросить — олень обернулъ голову, наддалъ — и опять Аггей далеко отъ него. Охоты ужъ давно не видно, и скачутъ въ чистомъ полѣ только олень да Аггей на конѣ.

Гонялся онъ за нимъ полдня; видитъ наконецъ, что олень къ рѣкѣ бѣжитъ. «Ну, — думаетъ, — если направо пойдетъ — пропалъ, а налѣво — мой!» Налѣво рѣка луку сдѣлала, и некуда звѣрю была оттуда уйти: сзади охотникъ, спереди рѣка широкая, ни человѣку, ни звѣрю не переплыть. Повернулъ олень налѣво; задрожало у Аггея сердце отъ радости. Скачетъ, а самъ думаетъ: «Скоро рѣка, некуда тебѣ уйти». Подскакалъ олень къ берегу, а недалеко отъ берега островокъ небольшой, а на островѣ кусты густые и лѣсъ великій. Прыгнулъ олень со всего размаха въ воду, окунулся, вынырнулъ и поплылъ на островъ. Подскакалъ Аггей и видитъ, что звѣрь въ кусты ушелъ. Погналъ и онъ коня въ воду.

Ступилъ конь въ воду, шагнулъ три раза и ушелъ въ воду по шею, а дальше нога и дна не достаетъ. Повернулъ Аггей назадъ на берегъ, думаетъ: «Олень отъ меня и такъ не уйдетъ, а на такой быстринѣ, пожалуй, и коня утопишь». Слѣзъ съ коня, привязалъ его къ кусту, снялъ съ себя дорогое платье и пошелъ въ воду. Плылъ, плылъ, едва не унесло. Наконецъ, попробовалъ ногой — дно. «Ну, — думаетъ — сей-часъ я его достану» — и пошелъ въ кусты.

Разгнѣвался Господь на Аггея. Призвалъ Онъ къ себѣ ангела и повелѣлъ ему, принявъ на себя видъ Аггеевъ, одѣться въ его платье, сѣсть на коня и ѣхать въ городъ. И исполнилъ ангелъ волю Господню по слову Его.

Искалъ, искалъ звѣря Аггей по кустамъ — нѣтъ звѣря. Весь островъ кругомъ обошелъ; поперекъ сквозь кусты излазилъ — нѣтъ ничего. И не придумалъ Аггей, куда дѣвался олень впереди — рѣка широкая, никакому звѣрю не переплыть; да и увидѣлъ бы онъ оленя, если бы тотъ поплыть вздумалъ. Досадно стало Аггею; однако, дѣлать нечего, надо назадъ ворочаться. Онъ вышелъ къ водѣ, бросилъ копье, чтобъ не мѣшало, и приплылъ къ берегу. Смотритъ — ни коня, ни платья нѣтъ. Разсердился правитель, подумалъ, что украли, и рѣшилъ строго наказать вора. Вышелъ онъ изъ воды, поднялся на крутой берегъ — чистое поле, нѣтъ никого. Нечего дѣлать, нужно голому идти. Идетъ, а трава ему ноги рѣжетъ: непривычны онѣ босикомъ ходить; солнце печетъ голое тѣло и голову. Шелъ, шелъ Аггей, поднялся на пригорокъ; видитъ, въ лощинѣ пастухъ коровъ и телятъ пасетъ. Остановился Аггей и началъ ему рукой махать.

— Эй, ты, говоритъ, поди сюда!

Пастухъ на него смотритъ, удивляется: «Откуда — думаетъ — середи чистаго поля голый человѣкъ взялся?» Пошелъ къ нему потихоньку; въ одной рукѣ кнутъ длинный, въ другой — труба берестовая; самъ въ лаптяхъ и въ зипунишкѣ худомъ; черезъ плечо мѣшокъ для хлѣба повѣшенъ.

Аггей на него закричалъ:

— Ты чего не идешь, когда зовутъ?

— А ты кто такой? — спрашиваетъ пастухъ. — Чего тебѣ надобно?

— Не видѣлъ ли, кто мое платье взялъ и коня увелъ?

— Да ты кто такой, самъ-то? — опять спрашиваетъ пастухъ.

— Какъ, ты меня не знаешь? Я правитель вашъ, Аггей.

Посмотрѣлъ на него пастухъ и засмѣялся.

— Что ты, дуракъ, городишь! Правитель нашъ сейчасъ мимо меня въ городъ съ охоты проѣхалъ. Долго его тутъ охотники искали и нашли: вмѣстѣ поѣхали.

— Какъ ты смѣешь, рабъ, негодяй! — закричалъ Аггей.

— Пошелъ, пошелъ! — говоритъ пастухъ, — а то кнута отвѣдаешь.

Не вспомнилъ себя правитель отъ гнѣва. Забылъ онъ, что нагъ и безоруженъ, и бросился на пастуха. Схватилъ за плечо, хотѣлъ ударить, но пастухъ былъ сильнѣе: повалилъ онъ Аггея на землю и началъ бить берестовою трубою. Билъ-билъ, пока береста вся не расплелась, и отошло тогда у него сердце.

— Вотъ, — говоритъ, — тебѣ за такія слова. Ступай!

Поднялся Аггей, весь избитый, побрелъ потихоньку. А пастухъ подумалъ, и жаль ему стало. «Напрасно — думаетъ — я человѣка изобидѣлъ: можетъ, онъ шальной какой, или сумасшедшій».

Отошелъ Аггей немного отъ пастуха, слышитъ, тотъ зоветъ его.

— Эй ты, воротись!

Аггей обернулся, смотритъ, а пастухъ въ одной рукѣ что-то держитъ, а другою рукой къ себѣ его манитъ.

— Воротись! — кричитъ — куда ты голый пойдешъ? На тебѣ хоть мѣшокъ.

Стоитъ Аггей, не шевелится. Горько и стыдно стало душѣ его. Пастухъ досталъ ножъ изъ-за пояса, прорѣзалъ въ мѣшкѣ три дыры: одну для головы, а двѣ для рукъ, и подошелъ къ Аггею.

— Мѣшокъ-то у меня пустой, хлѣбъ весь съѣлъ. Нехорошо человѣку голому ходить; надѣнь вмѣсто рубахи.

Надѣлъ онъ на него мѣшокъ. Пошелъ Аггей, ни слова не сказавши, въ городъ. Идетъ, а самъ думу думаетъ о своей напасти и не знаетъ, откуда она на него пришла. Обманщикъ, видно, какой-нибудь, на него похожій, его платье взялъ и коня увелъ. И чѣмъ дальше идетъ Аггей, тѣмъ больше сердце у него разгорается. «Ужъ покажу я ему, что я Аггей — настоящій, грозный правитель. Прикажу на площадь отвести и голову отрубить. А пастуха тоже такъ не оставлю», — подумалъ Аггей, да вдругъ вспомнилъ про мѣшокъ и застыдился.

Шелъ онъ до вечера, а до города еще далеко. Пришлось ему въ полѣ ночевать: зарылся въ копну и проспалъ всю ночь. Поднялся съ зарею и опять пошелъ; недалеко отъ города вышелъ на большую дорогу. По дорогѣ много народу въ городъ на базаръ идетъ и ѣдетъ. Догоняетъ его обозъ; стали его извозчики спрашивать, что онъ за человѣкъ, и от-чего это онъ въ мѣшокъ одѣтъ.

Вспомнилъ Аггей про пастуховы побои и побоялся сказать правду.

— Я — говоритъ — не здѣшній житель; ѣхалъ я черезъ вашъ городъ по дѣламъ, да дорогой напали на меня разбойники, всего избили и ограбили, и коня, и платье, и деньги отняли. Надѣли на меня мѣшокъ, да и пустили.

Пожалѣли его добрые люди: собрали кто рубаху, кто штаны; одинъ далъ ему опорки старые, другой — кафтанъ, а третій — шапку. Поблагодарилъ ихъ Аггей, спросилъ, какъ зовутъ и гдѣ ихъ найти, и пошелъ въ городъ уже повеселѣе.

«Скоро — думаетъ — моему мученію конецъ. Злодѣя накажу, а тѣхъ, кто мнѣ помогъ, награжу».

Пошелъ онъ прямо на соборную площадь: тамъ его палаты стояли. Думалъ онъ въ свои ворота войти; не узнала его стража и не пустила. Побоялся онъ, какъ бы опять бить не стали, отошелъ и сталъ думать, что ему дѣлать. Идти прямо въ домъ къ себѣ нельзя: пока дойдешь до обманщика, и изобьютъ, и въ тюрьму посадятъ, и убьютъ, пожалуй. «Надо потерпѣть», думаетъ. Пошелъ на базаръ, гдѣ поденщики нанимались, и сталъ въ толпу. Наняли его за малыя деньги кирпичи на постройку носить. Трудна

была ему работа: всѣ плечи въ кровь съ непривычки истеръ, а самъ весь будто разбитый. Получилъ онъ подъ вечеръ деньги и раздѣлилъ ихъ на три части: на одну хлѣба купилъ, поѣлъ, другую про запасъ за ночлегъ оставилъ, а на третью купилъ бумаги, чтобъ написать женѣ своей письмо. Была у нихъ одна великая тайна: зналъ про нее лишь онъ да жена его, и чтобъ повѣрила она письму, написалъ онъ про эту тайну, и подойдя къ своему дому, увидѣлъ одну женщину изъ прислужницъ жены и отдалъ ей письмо для передачи. Не узнала его въ дурномъ платьѣ и женщина служанка. Сталъ Аггей недалеко отъ воротъ, отвѣта поджидаетъ.

А жена его, видя, что мужъ ея при ней, не могла повѣрить тому письму. Подумала, не проговорился ли мужъ кому про ту тайну и не злодѣй ли какой хочетъ смутить ее. Боялась она своего грознаго мужа и знала, что если узнаетъ онъ, что ей такія письма приносятъ, то накажетъ ее, не разобравъ дѣла. И чтобы отогнать того человѣка, что письмо написалъ, и напугать его, чтобы никогда больше не смѣлъ смущать ее, приказала слугамъ схватить его, привести во дворъ и высѣчь жестоко. Исполнили это слуги, отпустили Аггея чуть живого. Приплелся онъ на постоялый дворъ и всю ночь промучился: къ утру лишь заснулъ. И тѣлу его было больно, а въ душѣ и того хуже: гнѣвъ безсильный и ярость связанная терзали его, а хуже мученія нѣтъ.

На другой день пришелъ праздникъ, и стали хозяева съ постоялаго двора въ церковь собираться. Нарядилась хозяйка и вышла за ворота, а мужъ на дворѣ чѣмъ-то замѣшкался. Стала жена мужа звать:

— Иди, — кричитъ — а то правитель въ церковь пройдетъ, и не увидимъ его.

Услышавъ это, Аггей и спрашиваетъ:

— А кто у васъ правитель?

— А ты не здѣшній, видно, что не знаешь? Правитель у насъ Аггей. Правитъ онъ городомъ и всею областью уже двѣнадцать лѣтъ. Грозный у насъ правитель: вчера увидѣла я его на улицѣ, со страху чуть не упала.

Пошли хозяева въ церковь, а Аггей не знаетъ, что ему и думать. Махнулъ онъ рукой. «Будь, что будетъ, — думаетъ — хуже того, что теперь, себѣ не сдѣлаю; хоть и казнитъ меня, а пойду и обличу злодѣя». II пошелъ за хозяевами къ собору, и сталъ съ народомъ на паперти, гдѣ проходить правителю.

И видитъ Аггей: идутъ его воины-тѣлохранители съ сѣкирами и мечами, и начальники, и чиновники въ праздничныхъ одеждахъ. И идутъ подъ балдахиномъ парчевымъ правитель съ правительницей: одежды на нихъ златотканныя, пояса дорогими каменьями украшенные. И взглянулъ Аггей въ лицо правителю и ужаснулся: открылъ ему Господь глаза, и узналъ онъ ангела божія. И бѣжалъ Аггей въ ужасѣ изъ города.

Бѣжалъ онъ долго, самъ не зная, гдѣ и куда. И очутился онъ въ дремучемъ лѣсу, и упалъ отъ усталости подъ деревомъ, и долго лежалъ безъ силъ и безъ памяти, какъ будто бы оставила его на время душа его.

Проснулся онъ ночью, и дико ему стало. Забылъ, что случилось въ послѣдніе три дня, и не знаетъ, отчего звѣзды изъ-за вѣтокъ смотрятъ на него, отчего надъ нимъ деревья отъ вѣтра шумятъ, отчего ему холодно и лежитъ онъ не на своей пуховой постели, а на сырой травѣ. Сталъ вспоминать и все припомнилъ.

И горько плакалъ Аггей. Вспомнилъ онъ всю жизнь свою и понялъ, что не за выдранный листъ наказалъ его Господь, а за всю жизнь. «Прогнѣвалъ я Господа, — думаетъ, — и будетъ ли мнѣ теперь пощада и спасеніе?»

Долго лежалъ онъ и плакалъ, каясь въ грѣхѣ своемъ и прося у Бога помощи и силы. И послалъ ему Господь силу.

Разсвѣтало; Аггей всталъ и вышелъ изъ лѣса, и пошелъ на свѣтлый божій міръ, къ людямъ.

Годъ прошелъ, другой проходитъ, а жена Аггеева все думаетъ, что мужъ ея вмѣстѣ съ нею въ палатахъ живетъ. Только удивляется она, отчего мужъ ея сталъ смиренъ и

добръ: не казнитъ никого и не наказываетъ; на охоту не ѣздитъ, а только въ церковь ходитъ, да разбираетъ ссоры и тяжбы и миритъ поссорившихся. Видится она съ нимъ рѣдко; посмотритъ онъ на нее кротко, не по-прежнему, скажетъ ласковое слово и уйдетъ въ свою горницу, и тамъ затворится, и сидитъ одинъ.

Приступила она къ нему наконецъ: «Господинъ мой, скажи мнѣ, чѣмъ я прогнѣвала тебя, что ты удалилъ отъ себя жену свою? Не знаю за собой никакой вины: за что же ты другой годъ меня чуждаешъся?»

Посмотрѣлъ на нее ангелъ, улыбнулся тихо и сказалъ:

— Ничѣмъ ты меня не прогнѣвала, любезная жена, но я далъ Богу обѣтъ три года не знать тебя. Вотъ третій годъ уже наступаетъ, и скоро будешь ты жить попрежнему съ мужемъ своимъ.

Сказалъ и ушелъ въ свой покой и затворился. Заплакала жена, и тоже пошла къ себѣ.

Такъ прожили они три года. За недѣлю прежде, чѣмъ пойти четвертому, отдалъ правитель приказъ собрать со всей области нищихъ и убогихъ. Будетъ на правителевомъ дворѣ всѣмъ имъ пріемъ и угощеніе, и надѣлитъ ихъ правитель дарами. Поскакали гонцы во всѣ города, послали изъ городовъ приказъ по селамъ и деревнямъ, и со всѣхъ концовъ потянулись нищіе. И не зналъ никто до той поры, что такъ много нищихъ въ области; всѣ дороги покрыли они: хромые, безногіе, безрукіе, и слѣпые, и слабые, и юродивые, и убогіе разумомъ, старые и малые. Идутъ нищіе зрячіе больше по одиночкѣ, а слѣпые — артелями. Собрались въ городъ, и пришло ихъ столько, что не только во дворѣ у правителя не помѣстились, а и всю соборную площадь заняли.

Пошелъ правитель въ церковь, набились и нищіе въ церковь, тѣ, которые попали, а другіе толпою стали передъ церковью на площади. Слуги же въ то время на площади столы разставили и накрыли ихъ, и поставили на нихъ пироги и похлебки, и мясо, медъ и вино. И сколько ни было нищихъ, всѣмъ мѣста хватило.

Вышелъ правитель изъ церкви, остановился на паперти, далъ знакъ рукой, и вся толпа стихла.

— Радъ видѣть васъ всѣхъ, добрые люди: милости прошу хлѣба-соли откушать. Садитесь по мѣстамъ и кушайте, а пообѣдаете — еще къ вамъ выйду.

Сказалъ, и прошелъ въ свои палаты. Стали за столы усаживатъся; одна артель слѣпыхъ цѣлый столъ заняла. Пришли эти слѣпцы издалека; шли они тихо и долго; было ихъ двѣнадцать человѣкъ, а поводырь у нихъ былъ одинъ. Шелъ онъ впереди, двое за него держались, а за тѣхъ остальные по парѣ. Разсадилъ онъ ихъ по мѣстамъ, а самъ сталъ служить: розлилъ имъ по мискамъ похлебку, пироги роздалъ, мясо нарѣзалъ, ложки въ руки далъ, ѣдятъ слѣпые, а онъ отъ одного къ другому ходитъ и служитъ имъ.

Вотъ въ концѣ обѣда вышелъ правитель изъ своихъ палатъ и началъ обходить столы. Кого спроситъ о чемъ, кому ласковое слово скажетъ, а за нимъ идутъ слуги съ деньгами и платьемъ и всѣхъ одѣляютъ. Обошелъ всѣхъ и подходитъ къ послѣднему столу, гдѣ слѣпая артель сидѣла. Увидѣлъ правителя поводырь, и задрожалъ, и поблѣднѣлъ весь. Подходитъ къ нему правитель и спрашиваетъ:

— Ты тоже нищій?

— Нѣтъ, великій правитель, не нищій я. Слуга я нищимъ.

— Добро сказалъ ты, человѣкъ. Какъ зовутъ тебя?

Потупилъ поводырь глаза въ землю.

— Люди Алексѣемъ зовутъ.

Посмотрѣлъ ему въ глаза ангелъ, улыбнулся и говоритъ:

— Не всякая ложь въ ложь поставится. Иди за мной. Оставилъ поводырь своихъ слѣпыхъ и пошелъ за правителемъ въ палаты. Идутъ они черезъ толпу, и дивятся на нихъ всѣ люди: идутъ точно братья родные. Оба высокіе и статные; оба черноволосые,

и оба на одно лицо; только у поводыря въ густыхъ кудряхъ сѣдины много серебрится, да лицо почернѣло отъ вѣтра и солнца, а у правителя лицо бѣлое и свѣтлое.

Разступился народъ, пропустилъ ихъ; ушли они въ палаты. Провелъ поводыря ангелъ въ дальній покой и затворился съ нимъ.

— Узналъ тебя, Аггей, — говоритъ правитель, — знаешь ли ты меня?

— Знаю, господинъ, что посланъ ты былъ наказать меня. Каюсъ я въ грѣхѣ моемъ и во всей жизни моей...

И заплакалъ Аггей, и плакалъ навзрыдъ. Стоитъ ангелъ передъ нимъ: лицомъ просвѣтлѣлъ и улыбается; поднялъ Аггей голову и пересталъ плакать: не видѣлъ онъ никогда улыбки такой.

— Кончилось наказаніе твое, — сказалъ ангелъ. — Возьми мантію правителеву, возьми мечъ и жезлъ, и шапку правителеву. Помни, за что ты наказанъ былъ и правь народомъ кротко и мудро, и будь отнынѣ братомъ народу своему.

— Нѣтъ, господинъ мой, ослушаюсь я твоего велѣнія, не возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантіи. Не оставлю я слѣпыхъ своихъ братій: я имъ и свѣтъ, и пища, и другъ, и братъ. Три года я жилъ съ ними, и работалъ для нихъ, и прилѣпился душою къ нищимъ и убогимъ. Прости ты меня и отпусти въ міръ къ людямъ: долго стоялъ я одинъ среди народа, какъ на каменномъ столпѣ. высоко мнѣ было, но одиноко, ожесточилось сердце мое, и исчезла любовь къ людямъ. Отпусти меня!

— Добро сказалъ ты, Аггей, — отвѣчалъ ангелъ. — Иди съ миромъ.

И пошелъ поводырь Алексѣй со своими двѣнадцатью слѣпыми, и работалъ всю жизнь на нихъ и на другихъ бѣдныхъ, слабыхъ и угнетенныхъ, и прожилъ такъ многіе годы до смерти своей.

А ангелъ черезъ три дня оставилъ тѣло правителя. Похоронили тѣло, и жалѣлъ народъ своего правителя, который сначала гордымъ былъ, а послѣ кроткимъ сталъ.

Ангелъ же явился передъ лицо Господа.

Сигналъ.

Семенъ Ивановъ служилъ сторожемъ на желѣзной дорогѣ. Отъ его будки до одной станціи было двѣнадцать, до другой — десять верстъ. Верстахъ въ четырехъ въ прошломъ году открыли большую прядильню; изъ-за лѣса ея высокая труба чернѣла, а ближе, кромѣ сосѣднихъ будокъ, и жилья не было.

Семенъ Ивановъ былъ человѣкъ больной и разбитый. Девять лѣтъ тому назадъ онъ побывалъ на войнѣ: служилъ въ денщикахъ у офицера, и цѣлый походъ съ нимъ сдѣлалъ. Голодалъ онъ и мерзъ, и на солнцѣ жарился, и переходы дѣлалъ по сорока и по пятидесяти верстъ въ жару и въ морозъ; случалось и подъ пулями бывать, да, слава Богу, ни одна не задѣла. Стоялъ разъ полкъ въ первой линіи; цѣлую недѣлю съ турками перестрѣлка была: лежитъ наша цѣпь, а черезъ лощинку — турецкая, и съ утра до вечера пострѣливаютъ. Семеновъ офицеръ тоже въ цѣпи былъ; каждый день три раза носилъ ему Семенъ изъ полковыхъ кухонь, изъ оврага, самоваръ горячій и обѣдъ. Идетъ съ самоваромъ по открытому мѣсту, пули свистятъ, въ камни щелкаютъ, страшно Семену, плачетъ, а самъ идетъ. Господа офицеры очень довольны имъ были: всегда у нихъ горячій чай былъ. Вернулся онъ изъ похода цѣлый, только руки и ноги ломить стало. Не мало горя пришлось ему съ тѣхъ поръ отвѣдать. Пришелъ онъ домой — отецъ старикъ померъ; сынишка былъ по четвертому году — тоже померъ, горломъ болѣлъ; остался Семенъ съ женою самъ-другъ. Не задалось имъ и хозяйство, да и трудно съ пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось имъ въ своей деревнѣ невтерпежъ; пошли на новыя мѣста счастья искать. Побывалъ Семенъ съ же-

ной и на линіи, и въ Херсонѣ, и въ Донщинѣ: нигдѣ счастья не достали. Пошла жена въ прислуги, а Семенъ попрежнему все бродитъ. Пришлось ему разъ по машинѣ ѣхать; на одной станціи, видитъ, начальникъ будто знакомый. Глядитъ на него Семенъ, и начальникъ тоже въ Семеново лицо всматривается. Узнали другъ друга. Офицеръ своего полка оказался.

— Ты Ивановъ? — говоритъ.

— Такъ точно, ваше благородіе, я самый и естъ.

— Ты какъ сюда попалъ?

Разсказалъ ему Семенъ: такъ молъ и такъ.

— Куда жъ теперь идешь?

— Не могу знать, ваше благородіе.

— Какъ такъ, муракъ, не можешь знать?

— Такъ точно, ваше благородіе, потому, податься некуда. Работы какой, ваше благородіе, искать надобно.

Посмотрѣлъ на него начальникъ станціи, подумалъ и говоритъ:

— Вотъ что, братъ, оставайся-ка ты покудова на станціи. Ты, кажется, женатъ? Гдѣ у тебя жена?

— Такъ точно, ваше благородіе, женатъ; жена въ городѣ Курскѣ, у купца въ услуженіи находится.

— Ну, такъ пиши женѣ, чтобы ѣхала. Билетъ даровой выхлопочу. Тутъ у насъ дорожная будка очистится, ужъ попрошу за тебя начальника дистанціи.

— Много благодаренъ, ваше благородіе, отвѣтилъ Семенъ.

Остался онъ на станціи. Помогалъ у начальника на кухнѣ, дрова рубилъ, дворъ, платформу мелъ. Черезъ двѣ недѣли пріѣхала жена, и поѣхалъ Семенъ на ручной телѣжкѣ въ свою будку. Будка новая, теплая, дровъ — сколько хочешь; огородъ маленькій отъ прежнихъ сторожей остался, и земли съ полдесятины пахотной по бокамъ полотна было. Обрадовался Семенъ: сталъ думать, какъ свое хозяйство заведетъ, корову, лошадь купитъ.

Дали ему весь нужный припасъ: флагъ зеленый, флагъ красный, фонари, рожокъ, молотъ, ключи — гайки подвинчивать, ломъ, лопату, мётелъ, болтовъ, костылей, дали двѣ книжки съ правилами и росписаніе поѣздовъ. Первое время Семенъ ночи не спалъ, все росписаніе твердилъ; поѣздъ еще черезъ два часа пойдетъ, а онъ обойдетъ свой участокъ, сядетъ на лавочку у будки, и все смотритъ и слушаетъ, не дрожатъ ли рельсы, не шумитъ ли поѣздъ. Вытвердилъ онъ наизусть и правила; хоть и плохо читалъ, по складамъ, а все-таки вытвердилъ.

Дѣло было лѣтомъ; работа нетяжелая, снѣга отгребать не надо. Да и поѣзда на той дорогѣ рѣдки, обойдетъ Семенъ свою версту два раза въ сутки, кое-гдѣ гайки попробуетъ, подвинтитъ, щебенку подровняетъ, водяныя трубы посмотритъ, и идетъ домой хозяйство свое устраивать. Въ хозяйствѣ только у него помѣха была: что ни задумаетъ сдѣлать, обо всемъ дорожнаго мастера проси, а тотъ начальнику дистанціи доложитъ; пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семенъ съ женою даже скучать.

Прошло времени мѣсяца два; сталъ Семенъ съ сосѣдями сторожами знакомиться. Одинъ былъ старикъ древній; все смѣнить его собирались; едва изъ будки выбирался. Жена за него и обходъ дѣлала. Другой будочникъ, что поближе къ станціи, былъ человѣкъ молодой, изъ себя худой и жилистый. Встрѣтились они съ Семеномъ въ первый разъ на полотнѣ, посерединѣ между будками, на обходѣ; Семенъ шапку снялъ и поклонился.

— Добраго, — говоритъ, — здоровья, сосѣдъ.

Сосѣдъ поглядѣлъ на него сбоку. «Здравствуй», говоритъ. Повернулся и пошелъ прочь. Бабы послѣ между собою встрѣтились. Поздоровалась Семенова Арина съ сосѣдкой; та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидѣлъ разъ ее Семенъ: —

«Что это, — говоритъ, — у тебя, молодица, мужъ неразговорчивый?» Помолчала баба, потомъ говоритъ:

— Да о чемъ ему съ тобой разговаривать? У всякаго свое... Иди себѣ съ Богомъ.

Однако прошло еще времени съ мѣсяцъ, познакомились. Сойдутся Семенъ съ Василіемъ на полотнѣ, сядутъ на край, трубочки покуриваютъ и разсказываютъ про свое житье-бытье. Василій же больше помалчивалъ, а Семенъ и про деревню свою, и про походъ разсказывалъ.

— Не мало, — говорилъ, — я горя на своемъ вѣку принялъ, а вѣку моего не Богъ вѣсть сколько. Не далъ Богъ счастья. Ужъ кому какую таланъ-судьбу Господь дастъ, такъ ужъ и есть. Такъ-то братецъ, Василій Степанычъ.

А Василій Степанычъ трубку объ рельсъ выколотилъ, всталъ и говоритъ:

— Не таланъ-судьба намъ съ тобою вѣкъ заѣдаетъ, а люди. Нѣту на свѣтѣ звѣря хищнѣе и злѣе человѣка. Волкъ волка не ѣстъ, а человѣкъ человѣка живьемъ съѣдаетъ.

— Ну, братъ, волкъ волка ѣстъ, это ты не говори.

— Къ слову пришлось, и сказалъ. Все-таки, нѣту твари жесточе. Не людская бы злость да жадность — жить бы можно было. Всякій тебя за живое ухватить норовитъ, да кусъ отхватить, да слопать.

Задумался Семенъ.

— Не знаю, — говоритъ, — братъ. Можетъ, оно и такъ, а коли и такъ, такъ ужъ есть на то отъ Бога положеніе.

— А коли такъ, — говоритъ Василій, — такъ нечего намъ съ тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на Бога взваливать, а самому сидѣть да терпѣть, такъ это, братъ, не человѣкомъ быть, а скотомъ. Вотъ тебѣ мой сказъ.

Повернулся и пошелъ, не простившись. Всталъ и Семенъ.

— Сосѣдъ, — кричитъ, — за что же ругаешься?

Не обернулся сосѣдъ, пошелъ. Долго смотрѣлъ на него Семенъ, пока въ выемкѣ на поворотѣ стало Василія не видно.

Вернулся домой, и говоритъ женѣ: — Ну, Арина, и сосѣдъ же у насъ: зелье, не человѣкъ.

Однако не поссорились они; встрѣтились опять и попрежнему разговаривать стали, и все о томъ же.

— Э, братъ, кабы не люди... не сидѣли бы мы съ тобою въ будкахъ этихъ, говоритъ Василій.

— Что-жъ въ будкѣ... ничего, жить можно.

— Жить можно, жить можно... Эхъ ты! Много жилъ, мало нажилъ, много смотрѣлъ, мало увидѣлъ. Бѣдному человѣку, въ будкѣ тамъ или гдѣ, какое ужъ житье! Ѣдятъ тебя живодеры эти. Весь сокъ выжимаютъ, а старъ станешь — выбросятъ, какъ жмыху какую, свиньямъ на кормъ. Ты сколько жалованья получаешь?

— Да маловато, Василій Степанычъ. Двѣнадцать рублей.

— А я тринадцать съ полтиной. Позволь тебя спросить, почему? По правилу, отъ правленія всѣмъ одно полагается: пятнадцать цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, отопленіе, освѣщеніе. Кто же это намъ съ тобой двѣнадцать, или тамъ тринадцать съ полтиной опредѣлилъ? Позволь тебя спросить?.. А ты говоришь, жить можно! Ты пойми, не объ полуторахъ тамъ или трехъ рубляхъ разговоръ идетъ. Хоть бы и всѣ пятнадцать платили. Былъ я на станціи въ прошломъ мѣсяцѣ; директоръ проѣзжалъ, такъ я его видѣлъ. Имѣлъ такую честь, ѣдетъ себѣ въ отдѣльномъ вагонѣ: вышелъ на платформу, стоитъ... Да не останусь я здѣсь долго; уйду, куда глаза глядятъ.

— Куда же ты уйдешь, Степанычъ? Отъ добра добра не ищутъ. Тутъ тебѣ и домъ, тепло, и землицы маленько, Жена у тебя работница...

— Землицы! Посмотрѣлъ бы ты на землицу мою. Ни прута на ней нѣту. Посадилъ-было весной капустки, такъ и то дорожный мастеръ пріѣхалъ. «Это, говоритъ, что такое? Почему безъ доношенія? Почему безъ разрѣшенія? Выкопать, чтобъ и духу ея не было». Пьяный былъ. Въ другой разъ ничего бы не сказалъ, а тутъ втемяшилось... «Три рубля штрафу!..»

Помолчалъ Василій, потянулъ трубочки и говоритъ тихо:

— Немного еще, зашибъ бы я его до смерти.

— Ну, сосѣдъ, и горячъ ты, я тебѣ скажу.

— Не горячъ я, а по правдѣ говорю и размышляю. Да еще дождется онъ у меня, красная рожа. Самому начальнику дистанціи жаловаться буду. Посмотримъ!

И точно пожаловался.

Проѣзжалъ разъ начальникъ дистанціи путь осматривать. Черезъ три дня послѣ того господа важные изъ Петербурга должны были по дорогѣ проѣхать: ревизію дѣлали, такъ передъ ихъ проѣздомъ все надо было въ порядокъ произвести. Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрѣли, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили; на переѣздахъ приказали желтаго песочку подсыпать. Сосѣдка сторожиха и старика своего выгнала траву подчищать. Работалъ Семенъ цѣлую недѣлю; все въ исправность привелъ и на себѣ кафтанъ починилъ, вычистилъ, а бляху мѣдную кирпичемъ до сіянія оттеръ. Работалъ и Василій. Пріѣхалъ начальникъ дистанціи на дрезинѣ; четверо рабочихъ рукоять вертятъ; шестерни жужжатъ; мчится телѣжка верстъ по двадцать въ часъ, только колеса воютъ. Подлетѣлъ къ Семеновой будкѣ; подскочилъ Семенъ, отрапортовалъ по солдатски. Все въ исправности оказалось.

— Ты давно здѣсь? — спрашиваетъ начальникъ.

— Со второго мая, выше благородіе.

— Ладно. Спасибо. А въ сто шестьдесятъ четвертомъ номерѣ кто?

Дорожный мастеръ (вмѣстѣ съ нимъ на дрезинѣ ѣхалъ) отвѣтилъ:

— Василій Спиридовъ.

— Спиридовъ, Спиридовъ... А, это тотъ самый, что въ прошломъ году былъ у васъ на замѣчаніи?

— Онъ самый и естъ-съ.

— Ну, ладно, посмотримъ Василія Спиридова. Трогай.

Налегли рабочіе на рукояти; пошла дрезина въ ходъ.

Смотритъ Семенъ на нее и думаетъ: ну, будетъ у нихъ съ сосѣдомъ игра.

Часа черезъ два пошелъ онъ въ обходъ. Видитъ, изъ выемки по полотну идетъ кто-то, на головѣ будто бѣлое что виднѣется. Сталъ Семенъ присматриваться — Василій; въ рукѣ палка, за плечами узелокъ маленькій, щека платкомъ завязана.

— Сосѣдъ, куда собрался? — кричитъ Семенъ.

Подошелъ Василій совсѣмъ близко: лица на немъ нѣту, бѣлый какъ мѣлъ, глаза дикіе; говорить началъ — голосъ обрывается.

— Въ городъ, — говоритъ, — въ Москву... въ правленіе.

— Въ правленіе... Вотъ что! Жаловаться, стало быть, идешь? Брось, Василій Степанычъ, забудь...

— Нѣтъ, братъ, не забуду. Поздно забывать. Видишь, онъ меня въ лицо ударилъ, въ кровь разбилъ. Пока живъ не забуду, не оставлю такъ!

Взялъ его за руку Семенъ:

— Оставь, Степанычъ; вѣрно тебѣ говорю: лучше не сдѣлаешь.

— Чего тамъ лучше! Знаю самъ, что лучше не сдѣлаю; правду ты про таланъ-судьбу говорилъ. Себѣ лучше не сдѣлаю, но за правду надо, братъ, стоять.

— Да ты скажи, съ чего все пошло-то?

— Да съ чего... Осмотрѣлъ все, съ дрезины сошелъ, въ будку заглянулъ. Я ужъ зналъ, что строго будетъ спрашивать; все, какъ слѣдуетъ. Исправилъ, ѣхать ужъ хотѣлъ,

а я съ жалобой. Онъ сейчасъ кричать. «Тутъ — говоритъ правительственная ревизія, такой-сякой, а ты объ огородѣ жалобы подавать! Тутъ — говоритъ — тайные совѣтники, а ты съ капустой лѣзешь!» Я не стерпѣлъ, слово сказалъ, не то чтобы очень, но такъ ужъ ему обидно показалось. Какъ дастъ онъ мнѣ... а я стою себѣ, будто такъ оно и слѣдуетъ. Уѣхали они, опамятовался я, вотъ обмылъ себѣ лицо и пошелъ.

— Какъ же будка-то?

— Жена осталась. Не прозѣваетъ; да ну ихъ совсѣмъ и съ дорогой ихней!

Всталъ Василій, собрался.

— Прощай, Иванычъ. Не знаю, найду ли управу себѣ.

— Неужто пѣшкомъ пойдешь?

— На станціи на товарной попрошусь; завтра въ Москвѣ буду.

Простились сосѣди: ушелъ Василій, и долго его не было. Жена за него работала, день и ночь не спала; извелась совсѣмъ, поджидаючи мужа. На третій день проѣхала ревизія: паровозъ, вагонъ багажный и два перваго класса, а Василія все нѣтъ. На четвертый день увидѣлъ Семенъ его хозяйку; лицо отъ слезъ пухлое, глаза красные.

— Вернулся мужъ? — спрашиваетъ.

Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла въ свою сторону.

Научился Семенъ когда-то, еще мальчишкой, изъ тальника дудки дѣлать. Выжжетъ таловой палкѣ сердце, дырки, гдѣ надо, высверлитъ, на концѣ пищикъ сдѣлаетъ, и такъ славно наладитъ, что хоть что угодно играй. Дѣлывалъ онъ въ досужее время дудокъ много и съ знакомымъ товарнымъ кондукторомъ въ городъ на базаръ отправлялъ: давали ему тамъ за штуку по двѣ копѣйки. На третій день послѣ ревизіи оставилъ онъ дома жену, вечерній шестичасовой поѣздъ встрѣтить, а самъ взялъ ножикъ и въ лѣсъ пошелъ, палокъ себѣ нарѣзать. Дошелъ онъ до конца своего участка — на этомъ мѣстѣ путь круто поворачивалъ — спустился съ насыпи и пошелъ лѣсомъ подъ гору. За полверсты было большое болото, и около него отличнѣйшіе кусты для его дудокъ росли. Нарѣзалъ онъ палокъ цѣлый пукъ и пошелъ домой. Идетъ лѣсомъ; солнце уже низко было; тишина мертвая, слышно только, какъ птицы чиликаютъ, да валежникъ подъ ногами хруститъ. Прошедъ Семенъ немного еще, скоро и полотно, и чудится ему, что-то еще слышно: будто гдѣ-то желѣзо о желѣзо позвякиваетъ. Пошелъ Семенъ скорѣй. Ремонту въ то время на ихъ участкѣ не было. «Что бы это значило?» — думаетъ. Выходитъ онъ на опушку — передъ нимъ желѣзнодорожная насыпь подымается; наверху, на полотнѣ, человѣкъ сидитъ на корточкахъ, что-то дѣлаетъ; сталъ подыматься Семенъ потихоньку къ нему: думалъ, гайки кто воровать пришелъ. Смотритъ — и человѣкъ поднялся; въ рукахъ у него ломъ; поддѣлъ онъ рельсъ ломомъ, какъ двинетъ его въ сторону. Потемнѣло у Семена въ глазахъ; крикнуть хочетъ — не можетъ. Видитъ онъ Василія, бѣжитъ наверхъ бѣгомъ, а тотъ съ ломомъ и ключемъ съ другой стороны насыпи кубаремъ катится.

— Василій Степанычъ! Отецъ родной, голубчикъ, воротись! Дай ломъ! Поставимъ рельсъ, никто не узнаетъ. Воротись, спаси свою душу отъ грѣха!

Не обернулся Василій, въ лѣсъ ушелъ.

Стоитъ Семенъ надъ отвороченнымъ рельсомъ; палки свои выронилъ. Поѣздъ идетъ не товарный, пассажирскій. И не остановишь его ничѣмъ: флага нѣтъ. Рельса на мѣсто не поставишь; голыми руками костылей не забьешь. Бѣжать надо, непремѣнно бѣжать въ будку за какимъ нибудь припасомъ. Господи, помоги!

Бѣжитъ Семенъ къ своей будкѣ, задыхается. Бѣжитъ — вотъ-вотъ упадетъ. Выбѣжалъ изъ лѣсу — до будки сто сажень, не больше, осталось, слышитъ — на фабрикѣ гудокъ загудѣлъ. Шесть часовъ. А въ двѣ минуты седьмого поѣздъ пройдетъ. Господи! Спаси невинныя души! Такъ и видитъ передъ собою Семенъ: хватитъ паровозъ лѣвымъ колесомъ объ рельсовый обрубъ, дрогнетъ, накренится, пойдетъ шпалы рвать и въ дребезги бить, а тутъ кривая, закругленіе, да насыпь, да валиться-то внизъ

одиннадцать сажень, а тамъ, въ третьемъ классѣ, народу биткомъ набито, дѣти малыя... Сидятъ они теперь всѣ, ни о чемъ не думаютъ. Господи, вразуми Ты меня!.. Нѣтъ, до будки добѣжать и назадъ во-время вернуться не поспѣешь...

Не добѣжалъ Семенъ до будки, повернулъ назадъ, побѣжалъ скорѣе прежняго. Бѣжитъ ночти безъ памяти; самъ не знаетъ, что еще будетъ. Добѣжалъ до отвороченнаго рельса: палки его кучей лежатъ. Нагнулся онъ, схватилъ одну, самъ не понимаетъ зачѣмъ, дальше побѣжалъ. Чудится ему, что уже поѣздъ идетъ. Слышитъ свистокъ далекій, слышитъ, рельсы мѣрно и потихоньку подрагиватъ начали. Бѣжать дальше силъ нѣту; остановился онъ отъ страшнаго мѣста саженяхъ во ста: тутъ ему точно свѣтомъ голову освѣтило. Снялъ онъ шапку, вынулъ изъ нея платокъ бумажный; вынулъ ножъ изъ-за голенища; перекрестился. Господи благослови!

Ударилъ себя ножемъ въ лѣвую руку повыше локтя; брызнула кровъ, полила горячей струей; намочилъ онъ въ ней свой платокъ, расправилъ, растянулъ, навязалъ на палку и выставилъ свой красный флагъ.

Стоитъ, флагомъ своимъ размахиваетъ, а поѣздъ ужъ виденъ. Не видитъ его машинистъ, подойдетъ близко, а на ста саженяхъ не остановить тяжелаго поѣзда!

А кровь все льетъ и льетъ: прижимаетъ Семенъ рану къ боку, хочетъ зажать ее, но не унимается кровь; видно, глубоко поранилъ онъ руку. Закружилось у него въ головѣ; въ глазахъ черныя мухи залетали; потомъ и совсѣмъ потемнѣло; въ ушахъ звонъ колокольный. Не видитъ онъ поѣзда и не слышитъ шума; одна мысль въ головѣ: не устою, упаду, уроню флагъ: пройдетъ поѣздъ черезъ меня... помоги, Господи, пошли смѣну...

И стало черно въ глазахъ его, и пусто въ душѣ его, и выронилъ онъ флагъ. Но не упало кровавое знамя на землю; чья-то рука подхватила его и подняла высоко на встрѣчу подходящему поѣзду. Машинистъ увидѣлъ его, закрылъ регуляторъ и далъ контръ-паръ. Поѣздъ остановился.

Выскочили изъ вагоновъ люди, сбились толпою. Видятъ: лежитъ человѣкъ весь въ крови, безъ памяти; другой возлѣ него стоитъ съ кровавой тряпкой на палкѣ.

Обвелъ Василій всѣхъ глазами, опустилъ голову.

— Вяжите меня, — говоритъ — я рельсъ отворотилъ.